

Белая карета

Настолько ли фатально, что мы не знаем иного способа речи, нежели комментарий?.. (Это) обрекает нас на бесконечную задачу: всегда есть дремлющие означаемые, которым нужно дать слово.

Мишель Фуко. Рождение клиники¹

Порой мне кажется, что те, кому было бы интересно это прочесть, все уже умерли. Мир стал глобален, и говорят, что факт рождения в каком-то определенном месте уже не имеет прежнего значения. Но и отрезанная нога может болеть хуже живой, а с другой стороны, важно не только место, но и время: и разве, кроме родины, у нас есть еще что-нибудь, чего уже нет и что было бы, таким образом, достойно описания?

Впрочем, я только переводчик. Это не миссия, а ремесло, которым я, что называется, в поте лица своего зарабатываю хлеб свой. Хотя теперь деньги у меня есть и я мог бы этого уже и не делать. Фуко, которого я перевожу скорее для забавы, настаивает, что медицина сыграла важную роль в появлении письменности: диагнозы и методы лечения не должны были утрачиваться. Стоят ли того, чтобы их записывать, просто сопутствующие мысли — это вопрос дальнейшего развития.

Недавно, когда, полив цветы, я задремал на диване в дедовом кабинете, мне снилось, будто бы я должен прочесть какую-то лекцию или сделать сообщение, и там были они все: и Хи, и Голубь, и Лия — и вот я раскрываю рот, как рыба в аквариуме, но не выходит ни звука, не хватает дыхания, чтобы сказать — я даже не знаю о чем. Наблателькался подбирать подходящие слова, чтобы пересказывать чужие, а найдутся ли у меня свои собственные? Я кинулся, запер квартиру, прыгнул в машину и приехал сюда — в дом отдыха, где никому ничего не должен. Лучше думается здесь, где никому до тебя нет дела и сознание «дома» не давит тебе на плечи, когда ты повис над листом.

Четыре года как меня преследуют скорые, я насчитал их пять штук, пока доехал, в чудовищных пробках на Ленинградском проспекте: вот позади их приближающийся, не оставляющий выбора вой и синие всполохи. Там, внутри, на грани, жизнь больного обретает какой-то смысл, который промелькнет, как всполох. Это тот же самый синий свет, что и в больничных окнах ночью, но в предельной концентрации. Как предложение не может раскрыть свой смысл, пока в нем не поставлена точка, так и жизнь — вот здесь, многоточием. «Проблесковый маячок» — так это у них называется. Всполохи мерцающего сознания: про что была до сих пор твоя жизнь? (Ведь она конечна.)

Часть первая

Первого марта 2014 года (я восстановил число, так как в этот день Совет Федерации разрешил президенту использовать на территории Украины российские войска, которые, как он сам позже признается, там и так уже были) мне позвонили из посольства, чтобы сказать, что Анри упал со стремянки и что-то себе сломал — он почти без сознания, еле-еле набрал их номер. К нему уже вызвали скорую, но кто их знает, умеют ли они говорить на каком-нибудь языке. Я бросил перевод Бодрийяра и поехал в район «Аэропорта». Шел мокрый снег, на лобовое стекло летела грязная жижа. По дороге я набирал Анри, но он не отвечал, и я подумал: а вдруг он так покалечился, что вернется к себе во Францию? Тогда я сдам квартиру какому-нибудь еще басурманину и буду жить на эти деньги, пусть и скромней. Конечно, я потеряю заработок, но то, чем мы занимались в то время с Анри, мне как раз больше всего и обрыдло.

У подъезда стояла скорая, кремовая, с красным крестом, водитель курил рядом, вид у него был безучастный, словно вскоре ему предстояло увезти отсюда не живого человека, а что-то ставшее ненужным в быту.

— Вы в двадцать шестую? — уточнил я.

— Да, но они не могут войти уже десять минут. Вы оттуда, у вас есть ключи?

Лифт был занят, и я взбежал на четвертый этаж по лестнице. Перед дверью в полутьме подъезда (лампочка, как всегда, не горела) я еще с лестницы различил две фигуры в синих как бы скафандрах — только на уровне щиколоток у них белели светоотражающие полосы. Одна была ростом, пожалуй, выше меня, а на второй ее негнувшийся комбинезон болтался, как на ребенке, которому его купили на вырост.

— Вы из этой квартиры, с ключами? А то мы уже спасателей вызываем дверь ломать, — сказала маленькая из полутьмы слишком низким для ее роста, чуть сипловатым голосом.

— Он что, без сознания, не может открыть?

— Он говорит, что не может одной рукой, а вторая у него сломана.

— Так вы понимаете по-французски?

— Да, немного понимаю и говорю, — она чуть понизила тон, словно признаваясь в каком-то своем тайном пороке. И громче: — Открывайте, чего вы ждете?

Из-за двери послышался стон и невнятные ругательства, но голос Анри был слаб. Я достал ключи, вставил сначала один, потом второй, потом повернул их одновременно и в то же время потянул дверь на себя, объясняя попутно:

— Он сам себе устроил тут западню, ха-ха. Он специально привез из самой Франции и вставил два каких-то хитрых замка, но их надо открывать одновременно, а одной рукой этого сделать не получится...

Дверь распахнулась, и мы втроем вошли в квартиру. С полутемной лестницы, где вечно пахло чем-то жареным из-за дверей соседней квартиры, которую тетя Рая теперь сдавала гастарбайтерам, вы сразу попадали как будто в другой мир — чистоты и стиля. Уборщица приходила к Анри два раза в неделю и дело свое знала: паркет блестел, отражая верхний свет в гостиной, и сейчас мы оставляли на нем три цепочки грязных следов. Как позже объясняла Лиля, у бригады скорой всегда есть бахилы в комплекте, но надевать их считается моветоном: инфаркт ведь не будет ждать, пока вы переобуетесь.

Доктор, которая покрупнее (фельдшер, как окажется потом), подхватила осевшего Анри под здоровую руку и потащила, как пустой мешок. Так мы обошли опрокинутую набок стремянку и раму с осколками стекла на полу.

— В спальню, кровать там, — подсказывал я маршрут, продолжая объяснять по дороге: — Можно было, конечно, оставить и мои старые замки, они были вполне надежны, но ведь француз не верит никому в России. А ужас, который внушает ему наша загадочная страна, рождает во мне даже что-то вроде национальной гордости...

— Вы слишком много болтаете! — сказала маленькая, тащившая большой зеленый ящик, где у них были инструменты и лекарства. — Клади его, Тамара...

— Ну почему, Лиля, пусть рассказывает, забавно, — сказала Тамара, укладывая француза сверху на тахту, и я догадался, что она решила просто прийти мне на помощь: женщина добродушная, на свою мужиковатость она просто махнула рукой.

— Comment ça va?.. — спросила маленькая, склоняясь над французом и осторожно щупая своей почти детской рукой сначала его лоб.

— Merci, — отвечал он с вымученной улыбкой, так как на этот вопрос и нельзя ответить никак иначе. В лежачем положении боль была, видимо, терпимей, и лицо Анри приобрело более осмысленное выражение. Он начал

объяснять, что хотел только повесить портрет, но эта чертова русская лестница... Он лопотал торопливо и бессвязно, и доктор явно перестала его понимать. Я начал было переводить, но она снова оборвала:

— Да, ясно, я видела лестницу. Спросите: голова кружится? Он терял сознание?

— Да, несколько раз, — перевел я. — Очень больно шевелить рукой...

— Тамара, промедол! Сорок миллиграмм, внутримышечно...

Фельдшер перевернула Анри, словно доску, успев расстегнуть на нем джинсы, ловко отломив носик ампулы и уже набирала прозрачную жидкость в шприц.

— Monsieur, votre cul s'il vous plaît...

Слово «cul» переводится как «задница», если не грубее, и доктор должна была сказать, конечно, по-другому. Анри засмеялся и тут же взвыл от боли в ребрах, а Лиля выхватила у Тамары шприц и сама вонзила его ему в ягодицу молниеносным движением, как будто хотела пригвоздить больного к постели. Вся процедура не заняла и нескольких секунд. Француз изумленно затих, пытаясь сбоку заглянуть ей в лицо.

— Не вертите головой, — скомандовала она. — Ne tournez pas votre tête (упрощенно).

— Так переводчик вам тут не нужен? — спросил я. — Тогда можно я пойду полью цветы в кабинете? А то бог знает когда я здесь окажусь в следующий раз...

— Тома, у тебя есть сигареты?

Фельдшер похлопала по карманам скафандра:

— Я забыла в машине.

— У меня есть, — сказал я, — пойдёмте, если вас устроят Gitanes — они крепковаты...

— Ты побудешь с ним, Тома? — И мне: — У нас есть пять минут, пока он перестанет чувствовать боль. Потом я вызову водителя, а вы сможете снести его вниз...

Мы вышли сначала в гостиную, которую Анри переделал из двух комнат, сломав перегородку. Когда шесть лет назад я сдал ему дедову квартиру, он затеял ремонт по своему вкусу, и я переводил его капризы прорабу, мысленно прося у деда прощенья. Между кухней и гостиной он устроил что-то вроде барной стойки, за которой ни разу никто не пил, во всяком случае при мне. Гостиная стала как бы оплотом Франции, защищенная от варваров тем оружием, которым иногда, пусть и ненадолго, их удавалось остановить, —

стилем. Анри любил, чтобы все было в единственном экземпляре: одно кресло, один стул, одна ваза с одним цветком, но всегда свежим, и даже если на кухне, когда я уходил, оставались две одинаковые чашки, то и они стояли как бы врозь, будто никогда не имели друг к другу никакого отношения.

По одной фотографии висело на каждой из стен: их присылал из Парижа друг Анри — модный фотограф. На каждом черно-белом или коричневатом отпечатке светила безукоризненная красота женского тела: без пошлости, но, пожалуй, и без жизни. Все девушки были тощи, красиво завинчивались руками или ногами, иной раз прижимали к соску какую-нибудь грушу. Периодически Анри менял эти фотографии и спрашивал, как мне нравятся новые, но особой разницы между ними я не находил.

— Он что, решил повесить вот это вон там? — спросила Лиля, обходя осколки и фото очередной девушки в коричнево-белом отпечатке. А если поднять от нее глаза вверх, там в рваной ране от поехавшей стремянки были видны внутренности старых, знакомых мне с детства обоев неопределенного рисунка — «в огурцах», как называл их дед.

Отвечать было не нужно и не хотелось, я достал сигареты из куртки и показал ей на дверь кабинета, перекрашенную кремовой краской только с наружной стороны:

— Здесь у него не курят, но там можно. Там российская территория...

Дедов кабинет я все-таки спас от ремонта. В нем остался письменный стол поэта и кое-какие книги, а стулья и картины я почти все увез на дачу. Я зажег лампу под абажуром на столе и указал ей на кресло рядом, подвинул пепельницу, а сам устроился на диване.

Она расстегнула скафандр и как бы немножко высунулась из него, чтобы прикурить от протянутой зажигалки, как птенец из гнезда — еще не научившийся летать и беззащитный. У нее оказались светло-карие глаза и каштановые, чуть в рыжину под отсветом лампы, довольно длинные волосы — я думаю, это ее натуральный цвет, хотя до сих пор не знаю точно. Скулы чуть высоковаты, что придает ее лицу голодное выражение, а линия губ под ними, наоборот, брезгливая: такой рот только покривится, если положить перед ним что-нибудь не то. И он все-таки слишком красный для ангела.

Женщина с картинки или даже с картины — такой я ее увидел сразу, это не стало позднейшим наслоением, только

эту картину, которую я когда-то где-то уже видел, я вспомнить до сих пор так и не могу. Она затянулась, стряхнула пепел и погладила рукой с сигаретой ближний из маленьких домиков, которые были расставлены на столе.

— Какая прелесть... Вы их собираете?

— Собирал когда-то... Осторожней, я давно не вытирал их от пыли. Это всё копии настоящих. Этот, который вы сейчас тронули, как раз был первым, я упросил отца его купить в Берне, хотя в то время советские люди не любили тратить иностранные франки на всякую ерунду. Мне было тем летом, постойте-ка... тринадцать, я ездил к родителям на каникулы в Швейцарию, отец работал в женевском офисе ООН. А вон тот из Англии, мне его привез один приятель, но это уже, наверное, в восемьдесят третьем, меня тогда выперли из МГИМО, а он, наоборот, начал ездить за бугор... Отдать их некому, сын уже взрослый, а выбросить тоже не поднимается рука. Хотите, я вам подарю какой-нибудь?

— Нет, спасибо, — сказала она с сожалением, — вот этот мне очень нравится, но сейчас у меня у самой нет дома, где его поставить. Так это ваша квартира?

— Дедова, но я сдал ее французу, а сам живу на даче теперь.

— Понятно, — сказала она, гася в пепельнице окурок. — Вкусные сигареты, не то что у нас продают, хотя натошак такие не покуришь. Это он вам привозит?

— У них в посольстве есть свой магазин.

— Дайте, что ли, еще одну.

— Ой, я же собирался полить цветы!.. — вспомнил я, протягивая ей голубую пачку. — А он там — ничего?

— У нас всегда все операции по плану, — сказала она и крикнула в спальню, по-хозяйски приоткрыв дверь: — Тома, еще три минуты, окей?

Она снова опустилась в кресло и потянулась за книжкой, которую я забыл тут, на столе, наверное, полгода назад, а Анри по нашему негласному уговору в эту комнату не заходил.

— «Naissance de la Clinique»... «Рождение клиники» — я правильно перевела? Вы тоже имеете какое-то отношение к медицине?

— Нет, что вы, я просто переводчик, — объяснил я, поливая дедов фикус из лейки, — я ее оставлял тут, чтобы вода отстоялась. — И там не совсем медицина, хотя много про историю больниц во Франции. Но все-таки это больше философия — Мишель Фуко.

— Фуко — это который маятник?

— Нет, это другой. Философ второй половины прошлого века. Ах да, он получил еще и диплом по психопатологии.

— Интересная книжка? О чем там?

— В двух словах не объяснишь. В общем, клиника в современном смысле появилась в конце восемнадцатого века, а до этого болезнь понимали больше умозрительно и как бы саму по себе, отдельно от человека. Фуко интересуется как раз то, что есть общего между вашей и моей профессией: значение слов, аппарата. Чтобы понять болезнь, надо сначала ее описать.

— Да, это важно, — сказала она. — Это можно прочесть по-русски?

— Есть перевод, но он не очень нравится. Я сейчас как раз перевожу ее заново.

Я уже вылил всю лейку, и мне надо было сходить на кухню набрать новую. Мне не хотелось, чтобы она узнала, чем мы с Анри занимаемся на самом деле. Хотя тогда я не думал, что мы с ней еще увидимся. Правды ради, Фуко и Бодрийера я тоже перевожу, но на это нельзя прожить.

— Так над чем он так ржал?

— Кто, Фуко?.. А, вы имеете в виду Анри!.. У вас довольно хорошее произношение, но это слово, если быть точным, переводится как... Ну, хм...

— Жопа?

— Скорее так. Но это точно не клиническая терминология.

— Ладно, пошли, — сказала она, вставая и смятая окурок. — Пора уже нести, ему сейчас хорошо, ни фигу не больно...

Выходя за ней с лейкой, я еще удивился, какая у нее прямая спина — как у всадницы на одной из тех дедовых картин, которые теперь пылятся на чердаке на даче. Образ — все в конце концов только образ, гештальт, завораживающий до тех пор, пока жизнь не стукнет нас мордой о стену настоящего. Но образ всякий раз появляется в каком-то обрамлении, в рамке обстоятельств времени и места, и все это он потом тащит за собой, и мы сами тоже оказываемся навсегда вписаны в эту рамку, даже если образ оказался не тот.

Я спохватился и нашел шоколад и шампанское, благо такого добра в закромах у Анри всегда было навалом:

— Вот тут как раз Восьмое марта будет скоро...

— Спасибо, это мы с Томой после дежурства раздавим, — сказала доктор, буднично принимая дары. — Да, вот еще...

Вещи сейчас уже некогда собирать, подвезете потом, а водку какую-нибудь хорошую захватите для Хи, мало ли что. Коньяк он не пьет, то есть пьет, конечно, но любит водку... Нет, зачем вы мне ее суете? Мы его сдадим и уедем за следующим, а с хирургом будете разговаривать вы. Ну? Раз-два!..

Анри глупо улыбался и пытался вяло возражать против носилок, но спорить с врачом было не положено. Когда мы с водителем его подняли, он вдруг забеспокоился и спросил:

— Куда они меня везут? Переведи, пожалуйста. У нашего посольства есть контракт с Американской клиникой, там все говорят хотя бы по-английски, мне надо туда.

— Американская клиника — это да! — сказала Лиля. — *C'est quelque chose!* Вы ему объясните, что у него перелом мелких костей кисти с вывихом. Ребра срastутся, а перелом надо по-настоящему оперировать, он может оказаться сочетанным...

— Как?

— Ну, черт его знает что еще может быть у него, сотрясение мозга например.

— Твой друг-лягушатник русских девок хочет еще полапать? — добродушная Тамара решила объяснить доходчивей. — Чтобы пальцы слушались, надо в нашу больницу. Лилия позвонит своему Михиладзе, а американские-то в русской травме что понимают?

Мы стащили Анри по лестнице — он был такой subtilный, что казалось странным, как он вообще мог сверзиться со стремянки, а не спланировал с нее, как лист. Водитель ловко запихал его по рельсам в пикап, а Тамара закурила и сказала, как бы подводя итог:

— Погода, блин, хрен проедешь, все русские люди руки-ноги на улице ломают, а этот со стремянки на... (глагол заглушил шум проехавшей мимо машины) — одно слово: француз. А ты, переводчик, поезжай следом, где приемное отделение, знаешь? А то в травме народ простой, если что не так поймут, что-нибудь не то и отрежут, а ему это самое может еще пригодиться, он, вон, молодой еще.

— Садись вперед, Тамара, — скомандовала доктор. — Я поеду с больным.

— Только ты сразу в фургоне ему не давай, — сказала Тамара, стреляя окурком в сугроб. — А то Гоги его зарежет, он же наполовину грузин, будет конфликт международный. Это я шучу, не обращайтесь внимания, — добавила она для

меня. — Хотя в каждой шутке есть доля шутки, как говорится. Ладно, поехали...

Карета тронулась. Какое-то время я пытался гнаться за ними по снежной каше, но их водитель включил сирену и синий маячок, а на проспекте они развернулись поперек двух сплошных и умчались — в сиреновой от сумерек метели синие всполохи были видны еще долго, словно чистое северное сияние над чадающими пробками Москвы.

Я отстал от них, наверное, минут на пять и потерял еще десять, пока ставил машину у ворот и бежал по снежной каше до приемного отделения.

В приемном покое огромной городской больницы здоровый человек скоро начинает искать, чем бы заняться, а делать-то тут совершенно нечего, пока ты ждешь и смотришь, как санитары с волосатыми руками, деловитые, как черти, увозят совершенно тебе незнакомый очередной полутруп в бесконечность коридора. И с больным, которого ты мечтаешь им поскорее уж сбуть, ты начинаешь болтать лишь бы о чем, как с ребенком, только бы не думать, что, не ровен час, и тебя точно так же повезут туда, куда тебе пока вход воспрещен и где все — неопределенность.

Анри лежал на каталке у стены, совершенный сирота. Торопясь к нему по коридору, который шел здесь то чуть вверх, то спускался, как улица, я увидел еще издали, как он пытается что-то втолковать проходящим мимо женщинам в халатах с помощью случайно запомнившихся русских слов, которых он до этого не учил из принципа. Наконец я зашел с той стороны, где он мог меня увидеть.

— О! — сказал он. — Mon Dieu! Слава богу! Не бросай меня. Тут все так мрачно! Они один раз уже увезли меня одного, но, к счастью, это оказался только рентген. Lila уехала, но написала мне фамилию врача на бумажке. Она ему звонила, он должен спуститься за нами. Врачу надо отдать водку, но потом. Там на бумажке еще ее телефон, поэтому я тебе ее не отдам, ты только прочти фамилию врача по-русски.

Он протянул листок, не выпуская его из здоровой руки, там было написано: «Георгий Вахтангович Михиладзе». Анри добавил, блаженно прикрыв глаза (черт знает что еще ему померещилось под промедолом):

— А ее зовут Lila — как «сирень». Она совсем неплохо говорит по-французски...

В самом деле, впоследствии ей иногда больше шло Lila с ударением на последнем слоге, а при других обстоятельствах просто Лиля, а на самом деле по паспорту ее зовут Лия, Лия Бахтияровна Кипчакова — и это все не один и тот же персонаж.

Конвейер между тем работал бесперебойно, мимо нас провезли старуху с синим лицом, шедший сбоку немолодой человек одергивал полу халата, открывавшую такую же синюю ляжку: вероятно, это была его мама, но одергивай не одергивай, а понятно было, что ее уже скоро возить не в палату. Следом проехала, свесив ноги с каталки, девица с зеленым хаером, наверное, наркоманка: она материлась для бодрости, готовясь к встрече в аду, а ее подруга придерживала на каталке узелок с пожитками.

Из лязгнувшего дверцей лифта вышел сутуловатый, хотя еще довольно молодой мужчина в салатовой как бы пижаме и стал озираясь, вертя головой на длинной шее. У него были почти бесцветные волосы под такой же салатовой шапочкой и глаза тоже бесцветные, но скорее добрые — кажется, чуть с близорукостью.

— Где тут у нас француз? — осведомился он у докторши в обычном белом халате.

— Это мы! — крикнул я, затем только сообразив, что всякий звук отскакивает тут от желтушного кафеля эхом, тележки же с больными, напротив, скользили в неизвестность бесшумно. — А вы доктор Михиладзе?

— Нет, я Голубь, — сказал бесцветный. — Павел Евгеньевич Голубь, это фамилия, а так я анестезиолог, а хирург ждет наверху.

— Давление чуть повышенное, Павел Евгеньевич, но это он после укола, — сообщила врач. — Промедол внутримышечно. Вот снимок кисти.

— Поехали, — сказал Голубь, мимоходом глянув снимок на просвет. И тут же явились волосатые санитары, словно черти выломались из кафеля.

— Мне тоже с вами? — спросил я. — Он же не говорит по-русски.

— А мы не будем там с ним разговаривать, — доброжелательно сказал Голубь. — Это что у вас там в пакете, водка? Водка для Хи — хорошо, но это потом. А где его вещи?

— Какие вещи? — спросил я, догоняя: санитары уже везли Анри на резиновом ходу к лифту. — Мы сразу после операции уедем с ним в Американскую клинику.

— В Американскую? — переспросил Голубь, прищурившись. — Операция будет идти часа три, а то и четыре. Значит, так: зубная щетка, паста, бритву не надо, он левой все равно не сумеет, еды — что он там у вас ест? Спортивный костюм и туалетную бумагу непременно.

— Nicolas, Nicolas!.. — Анри, видимо, улавливал смысл разговора и тянул ко мне в ужасе здоровую руку, но дверца лифта с лязгом уже захлопнулась за ними.

Я снова отпер дверь дедовой квартиры, включил свет, решил не вытирать до прихода уборщицы уже подсохшие следы на паркете, по которому так любил, когда мне было лет пять, кататься в войлочных тапках, разогнавшись из передней, и прошел в спальню.

Неловко сказать, но, копаясь в комодке Анри, чтобы добыть майку и чистые джинсы (в фитнес он не ходил, и никакого спортивного костюма у него не было), я испытывал даже некоторое злорадство. Он был, что называется, скопидомок, как большинство из них, и, вбухав бешеные деньги в старую сталинку, на стремянке, по которой я лазал еще вешать шары на елку, решил сэкономить. Она и поехала, ободрав внешний лоск стиля и обнажив старинную суть: все те же советские обои «в огурцах», поклеенные, когда нас с ним, может быть, еще и на свете не было (дед даже разговоров о ремонте не выносил, и в этом смысле я больше похож на него, чем на родителей, — вообще не люблю перемен).

В заключение я почистил холодильник и продуктовый шкафчик, выгреб оттуда сыр, ветчину, хлеб и какие-то особенные йогурты, которыми питался француз, закупая их только в «Азбуке вкуса», — этого должно было хватить на пару дней. Я прихватил еще полбутылки «Хеннесси», подавив желание отхлебнуть прямо сейчас: день был тяжелый, и до вечера, который еще бог знает когда теперь наступит, фляжка во внутреннем кармане будет придавать мне силы.

Между тем, взглянув на часы, я понял, что прошел только час с тех пор, как каталка на резиновом ходу увезла француза в неопределенность, и не было никакого смысла сразу возвращаться в больницу. Но мне не хотелось и долго оставаться тут одному, и тем более снова заходить в кабинет, какая-то в этом была для меня укоризна: в оставленных ли там домиках, давно не протиравшихся от пыли, или старый,

но не выброшенный на помойку плюшевый заяц так смотрел — черт его знает.

Я придумал включить телевизор, чего в последние годы не делал, — большой плоский экран, приобретенный Анри, висел в гостиной в простенке, освобожденном для этого от фотографий. Кое-как разобравшись с пультом, я пролистал несколько французских каналов, пропустил обрывки парламентских комментариев, рекламу горнолыжных курортов и прогноз погоды и остановился на российских новостях. Совет Федерации разрешил-таки президенту использовать российские войска на Украине, но «вежливые люди», начав в Крыму, уже победно шествуют по ее Юго-Востоку. Митинги в Донецке и в Одессе, жители Крыма готовятся проголосовать за присоединение к России, их договор еще предстоит оценить Конституционному суду, но граждане РФ его уже поддержали: рейтинг президента взлетел до небывалых восьмидесяти шести процентов...

Впрочем, кажется, тогда это еще не было подсчитано, но я это все равно уже каким-то образом понимал: ведь подавляющее большинство в самом деле подавляет, это не просто фигура речи. Я понимал, что это важно, что это теперь будет вот такая жизнь, но не мог заставить себя смотреть. Я стал листать программы назад: «Пари Сен-Жермен» играл с «Монако» и вел один — ноль. Какое-то время я пытался следить за мячиком и игроками в разноцветных майках, бегавшими за ним по изумрудному в свете прожекторов газону, но скоро поймал себя на том, что не могу сосредоточиться, что это мне так же не интересно, что (и тут мне отчего-то на миг стало страшно) мне вообще ничто не интересно, как будто цветной экран вдруг превратился в черно-белый.

Я метнулся в переднюю, надел сначала куртку, потом сел шнуровать ботинки, злясь на себя за то, что это было неудобно, потом, бросив шнурки, повинувшись новой мысли, забежал в кабинет, чтобы, не зажигая там света, схватить со стола книжку. Теперь я был во всеоружии мыслей Фуко — он поможет мне избавиться от болезни, о которой он там как раз так складно и рассуждает, — надо только добраться до светлой, чистой и ничейной «Шоколадницы», что ближе к метро, а вещи пока можно оставить и в машине.

Столик в углу был как раз свободен, и я сел, нащупав спиной стену; я заказал капучино с эклером и стал смотреть на девчонок, по виду школьниц, — они болтали за соседними столиками, вешали и снимали с вешалки цветные (но

не черно-белые!) куртки. Но и в свою сторону я тоже поймал два или три настороженных взгляда. Ах, вон оно что: нерусская книжка на столе... Нет, это была, конечно, фобия, но жизнь пронеслась мимо во всем блеске своей молодости, а я не попадал в те восемьдесят шесть процентов, которые, кажется, в тот день еще не были сосчитаны, но я о них каким-то образом уже все понимал. Я раскрыл книгу посередине, положив ее обложкой на стол, и начал читать с какого попало абзаца:

«В инвариантности клиники медицина связала истину и время...» «И место», — добавил бы я от себя. Я перевел это в уме, прикинув так и этак, и необходимость задумываться над каждым словом отвлекла меня от напрасных страхов: когда в очередной раз я поднес к губам чашку, на дне ее оставалась только молочная пена. Да как раз и пора было уже. Я расплатился и пошел к машине — на улице бодро подмораживало, ногам было скользко.

Операция еще не закончилась, но мне было позволено, купив бахилы, подняться на четвертый этаж в травму. За дверями матового стекла угадывался длинный коридор, совершенно пустой, но более светлый, чем закуток, где я устроился на жестком стуле. Через какое-то время по ту сторону послышались голоса: приглушенные женские и один мужской — очень густой и командирский, и я не без опаски постучался. На матовое легла тень, показавшаяся мне огромной, и в проем распахнувшейся двери вышел человек в халате, небрежно наброшенном поверх голубого костюма хирурга — там отчетливо видны были побуревшие капли крови. На лбу его параллельно морщинам был заметен след от шапочки, которую он устало скинул, дав своим косматым, чуть вьющимся волосам встать естественным дыбом. Черные, слегка навывкате глаза его старили, хотя он должен был быть примерно мой ровесник — чуть-чуть до пятидесяти. Я молча протянул ему пакет с «Белугой», который он принял огромной ручищей. Глаза метнули молнию внутрь, и мне почудилось, что водка сразу была выпита вся до дна — одним этим взглядом.

— Женья! — рявкнул он сестре, появившейся рядом. — Дайте ему халат, он пройдет через отделение, чтобы по улице его не гонять.

— Ну, Георгий Вахтангович, — пискнула сестра, — опять главврач ругаться будут!..

— Но тот же по-русски не понимает, а этот в бахилах, — пояснил Михиладзе и добавил грозно: — Вы только не хватайтесь там ни за что...

Две сестры выкатили в коридор тележку с телом Анри, который, видимо, еще только приходил в сознание. Давешний Голубь, пятясь, парил возле него. В руке у него были какие-то трубочки, не то проводки, отчего казалось, что это он с их помощью управляет тележкой, заставляет ее то ехать по коридору, то остановиться у лифта. Анри открыл глаза, но еще не видел, что его правая кисть, лежавшая поверх простыни, проткнута спицами из блестящего металла и забрана в такой же каркас. Он пошевелился, и я перевел врачам вопрос, который сам едва смог разобрать по губам:

— Он спрашивает, где он. Куда вы меня везете?

— В реанимацию, натурально, — прогудел Михиладзе.

— Там нет мест, — сказала сестра. — Гололедица, везут бабушек, как дрова, у всех шейка бедра. Не выкидывать же их на ночь глядя.

— А, ну тогда в восьмую. А что, там четыре койки всего. Я завтра там его посмотрю.

— Ему нельзя здесь, — сказал я, — он просил в Американскую клинику, у нас, то есть у посольства, с ними договор.

— Вы просто не в своем уме, — сказал Михиладзе. — Вы хотите сказать, что я четыре часа по косточке собирал ему кисть, а теперь это все в задницу? Забирайте вашу водку, и чтобы я больше никогда не видел ни его, ни вас.

— Нет, ну что вы...

— Тогда будьте здесь завтра без десяти восемь. Сейчас пройдите с ним до палаты, чтобы утром не путаться, а я пока откупорю вашу «Белугу», у меня смена кончилась.

— В самом деле, его сейчас нельзя никуда везти, — мягко сказал Голубь, подкручивая что-то в своих трубочках, между тем как сестры закатили тележку в лифт. Хирург остался, а мы вознеслись куда-то выше.

— Что он сказал? — прошептал Анри.

— Объясните, что я сделаю ему укол и он будет спать до утра как младенец, — сказал Голубь, продолжая вглядываться в лицо больного.

— O mon Dieu! — прошептал Анри. Он, наверное, увидел свою руку.

Мы выкатились, миновали еще двери и попали в какой-то следующий мир, где свет был тускл, стены обшарпаны, неприятно пахло тушеной капустой, мочой, йодом и какой-то

еще больничной дрянью. В палате, куда завезли каталку, лежали трое, все пялились на нас, хотя на край постели сел только один, второй лежал с задранной к потолку ногой в такой же хитрой конструкции, какая была у Анри, а третий не мог даже повернуть голову: весь запеленатый, как мумия фараона, он только косил глазом. Не обращая внимания на протесты, которые я перестал переводить, сестра ловко спихнула Анри на койку, а Голубь достал из кармашка шприц, снял колпачок и вкатил содержимое в одну из трубочек. Глаза француза тут же закатились как бы в обмороке — я даже испугался, что он умер.

— Ну, нам пора. Вы спуститесь и выйдете с той стороны, дайте только сколько-то денег нянечкам, если хотите, чтобы они его протерли и надели памперс...

Доктор с сестрами испарились, а я стал выкладывать на тумбочку содержимое сумки, стараясь раньше времени не повернуть голову, а только бдительно вслушиваясь, что там за спиной: армия, где я оказался, когда меня турнули из МГИМО, научила меня этому, а в больнице оно сразу вернулось как-то само собой.

— Йогурты в холодильник отнеси, — сказал слева мужик с ногой. — В коридоре увидишь. Надо прямо в пакете и фамилию надписать. Как фамилия-то у него?

— Вы все равно не запомните, — сказал я, понимая, что настало время вступить с ними в контакт. — Он вообще француз, на...вернулся с лестницы, а по-русски и не может сказать.

— С какой лестницы, в подъезде? — с интересом спросил тот, который был весь в гипсе.

— Нет, со стремянки.

— Видишь, Толян, он француз, а мудака, как и мы, такой же...

— Ясное дело, — согласился Толян, который единственный тут мог передвигаться.

Третий, с подвешенной ногой, повернулся ко мне, благо шея у него была свободна:

— А тебя самого-то как звать?

— Максим, — соврал я на всякий случай, хотя никакой нужды в этом не было (но армия, как настоящего разведчика, в свое время научила меня осторожности).

— Слышь, Максим, — прогудел обездвиженный, — расскажи, что там в стране и в мире происходит. А то в этой гребаной палате даже телевизора нет. Толян один ходит

в холл смотреть, но он только пыхтит, ничего толком пересказать не может. В Крыму как?

— Все отлично в Крыму! — бодро сказал я. — Крым наш, погода хорошая, восемьдесят шесть процентов россиян одобряют действия президента. В Донецке и Луганске мирные демонстрации, но они, кажется, уже не такие уж и мирные.

— Надо Харьков брать, — сказала нога убежденно. — Вишь, Вован, такие исторические события там происходят, а ты тут завис.

— А ты? — парировала мумия.

— Не, ну я-то успею, — сказала нога. — Слушай меня, я все ж таки капитан запаса. Там все так скоро не кончится, мы еще повоюем. А ты поедешь, Толян?

— Я-то? — переспросил Толян, прикидывая взглядом расстояние между постелью ноги и своей собственной. — Я чё, ебанько?

— Козел ты, а не русский, вот чё! — сказала нога с досадой, понимая, что и тапком, даже если он успеет за ним нагнуться, ему в изменника все равно не попасть. — Только утки и можешь выносить. А ну подай ее лежащему, ему пора поссать...

Мне тоже пора было завершать свое участие в этой дискуссии, и я сказал:

— Ну, партизанщины там тоже не надо, есть кому думать про выход к морю. Я так считаю. А где тут у вас нянечка?

— А ты ему кто, друг? — после некоторого общего молчания спросил фараон. — Хочешь ей денег дать? А француз тебе потом их отдаст? Уверен, а, Максим?

— Я переводчик, — сказал я, удивившись про себя пониманию этими людьми характера французов. — А чё, какие еще есть предложения?

— Слышь, переводчик, — сказала нога, — ты нам купи ноль семь, мы и сами всю жизнь его будем опекать, как ребенка. Памперсов вон у Вовки полно, ему положено. Они же потом пересчитывать не будут, а твоему пока хватит и одного.

— Почему ноль семь? Ноль пять, — сказал я, входя в роль. — А то вы буянить начнете, ты вон на одной ноге поскачешь по больнице бандеровцев мудохать.

— Не, это я так, — сказал Палыч. — Мы вообще-то мирные люди. Магазин за воротами сразу, это рядом. Толян бы и сбегал, он все равно выписывается, но ему же человеческое не выдали еще. На проходной скажи, что идешь

к тяжелому, которого только положили, а так оно и есть по правде. Минералку покажешь, а водку за пазухой спрячь...

— Ладно, — сказал я, гордый тем, что для Анри так будет, по крайней мере, безопасней, а счет я ему, так и быть, могу и не выставлять: я же тоже позаимствовал у него полбутылки «Хеннесси», и фляжка сейчас уже нетерпеливо грела меня сквозь карман.

Через десять минут я вернулся. Толян нарезал круги по палате, на тумбочке были уже приготовлены помытые кружки и любовно очищенный апельсин, и даже мумия фараона, казалось, привстала.

— А ты сам с нами, за Крым, братан? — предложила нога чисто из вежливости.

— Спасибо, я за рулем, я потом наверстаю.

— Ну давай тогда, не тяни.

— Насчет француза, — инструктировал я, поправляя на Анри одеяло. — Говорить он не умеет, но несколько лет в России прожил и что-то может понять ни с того ни с сего. Так что вы тоже соображайте, что несете, когда он проснется.

— Не проснется, не ссы, — сказал фараон. — Ну чё, наливай?

С чистой совестью я вышел из травмы в парк, в котором, засыпая, тонула больница. Снова пошел снег, но теперь сухой, большими хлопьями, вроде даже теплый на вид. В отличие от корпуса, откуда я вышел, построенного где-то при позднем социализме, другие были старинные, красного кирпича, с высокими окнами, из которых на летящий сверху и снизу, вдоль и поперек, мелькавший между голых веток снег изливался таинственный синий свет больницы. И хотя фляжка нетерпеливо грела мне душу сквозь карман, почему-то мне не захотелось сразу оттуда уходить. Конечно, там, внутри, чудовищно пахло и каждую ночь кто-нибудь умирал, но там все было по правде, а не так, как мы привыкли.

Наверное, думал я, шагая под снегом, это и есть жизнь в пределе своих проявлений. Вот это, а не то. Вот этот тусклый, специальный, больничный, никогда не гаснущий свет, в котором вечность и время, надежда и безнадежность, дом и бездомность, сгустившись, сами уже не умеют различить себя друг от друга. Хотелось не домой, но выпить, но в машине пришлось посидеть еще немного, пока запотевшее стекло не прояснело изнутри.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru